

НОВАЯ ГАЗ. - 2000 - 13-19 НОЯБР. - 021

15 ноября исполнится 75 лет со дня рождения писателя Юлия Даниэля. Писателя, вовсе не сводимого к «делу Синявского и Даниэля» 1965–1966 гг. Его умная, благородная проза волею судьбы принадлежит истории правозащитного движения и «тамиздата». Но в первую очередь все же она — явление русской словесности XX века.

В повести «Искушение» (1964) Даниэль первым предупредил, чем может обернуться слепая и всеобщая, как воинская повинность, демократизация всего и вся, вакханалия передовой общественности... «День открытых убийств» из его повести «Говорит Москва» стал, к сожалению, понятием нарицательным.

...А любил он в мировой словесности чуть ли не более всего Диккенса. И сам был, по воспоминаниям тех, кто хорошо знал писателя, «диккенсовский» человек.

Только время ему досталось вовсе не викторианское. В 1942 году Юлий Даниэль из школы ушел на фронт. В 1944-м был демобилизован после тяжелого ранения. На процессе 1966 г. Даниэля приговорили к пяти годам лаге-

рей строгого режима (четыре года — в Мордовии, последний — во Владимирской тюрьме).

По возвращении, после ссылки в Калугу, не эмигрировал. Жил в Москве. Переводил. В последние годы тяжело болел. В 1988 году, в последние месяцы жизни писателя, его стихи и проза были напечатаны в московских журналах.

Юлия Даниэля не стало 30 декабря 1988 года. Пророчество (в лучшем, наверное, его стихотворении) об уходе из жизни в канун января сбылось. Так часто бывает с настоящими поэтами.

В 1966–1970 гг. солидарность и сочувствие были сильнее, чем теперь. Юлию Даниэлю писали в лагерь многие. Он отвечал, и «книга лагерных писем» сложилась сама собой. Трезвость ума, юмор, мужество, «самостоятельный человек» — черты этих писем.

Общество «Мемориал» подготовило их книжное издание. Там, последняя книга Юлия Даниэля, скоро увидит свет. Мы публикуем фрагменты.

● Отдел культуры



ПЕРЕВОДЧИК ЧЕРЕЗ ЛЕТУ

Он принадлежал племени, которое называли не-впопад и космато: «шестидесятники».

Из того же племени был Тарковский-младший, у него в фильме «Зеркало» есть неговорящий подросток, его обучают речи, учат произносить слово.

Как там у Рабле про оттаивающие слова? Где-то они валялись в замороженном виде, потом начали оттаивать.

Мы были молоды, когда с космическим грохотом обрушилось величие вождя всех времен и народов и кончилась эпоха великой немоты.

Юлий был из тех, кто обучился говорить как раз в те исторические времена. Он просто должен был выйти в новое литературное пространство, где можно не лгать и не суетиться. И чтобы не оставалось зазора между мыслью и текстом, куда может проскочить мысль по имени Трусость.

Синявский затеял неслыханное, организовал, можно сказать, побег Слова из неволи, из-под цензуры, Юлий Даниэль, недолго думая, включился в это дело.

Дело же было рискованное: писать, будто бы ты — вольная птица, а не советский труженик пера. И — под псевдонимом, и — тайно передавать за границу, чтоб там печатали, но авторов здесь — не нашли. Нашли, в конце концов.

Но до того, как нашли, Юлий знал, что его слово, обучавшееся Свободой скоростным способом, благополучно перешло границу. Что вырвался на волю стреноженный конь, да еще и кляп из пасти выплюнул.

Потом уже, в карцере, Юлий нацарапал чем попало и на чем попало: *Где он, мой конь?*

В тюрьме уголовники забросили из окна в окно, из решетки в решетку «Коня» — обломком карандаша, крепко обернутый бумажкой: писатель? Ну и пиши, так твою.

После, когда угодили в карцер, в память, что ли, о том подношении на бечевке, предназначенном писателю вместо лиры, у него появились самые легкие, самые светлые стихи:

*Уже на небе гремит посуда
И скоро грянет
жестокий пир,
А наши кони уже пасутся,
А наши кони уже в степи.
...Табун гривастый
еще пасется,
Плывут копыта
в ночной росе...*

Этот табун питался свободным словом.

Впрочем, свое слово он все равно ценил меньше, чем слово чужое. Потому считал себя переводчиком, более всего переводчиком, из лагеря однажды написал «Стихи мне «снились», и не свои стихи, а Фроста, и ладно бы только Фроста, а еще и в переводе Андрея Сергеева. Переводы могли входить в состав сокровенных снов.

Переводы — какая уж тут свобода?

Напротив, совсем напротив.

Служение. И какое служение! Всем существом.

Вслушивался в звук стиха на чужом языке и, как в раковине, слышал шум удаленного прибора Поэзии, которая есть Мировой океан, омывающий все континенты со всеми поэтами, их заселившими. Отсчитывал ритм другого поэта, как считают пульс на руке пациента, осторожно сжимая его запястье.

Когда он переводил, мне казалось — его сердцебиение начинало подчиняться ударам иного пульса.

После страшного инсульта врачи сказали: читать больше не сможет. Тем более переводить.

Пренебрегая законами уязвленной ударом природы и, уязвляя медицину, слово вернулось к нему.

Читал. Переводил. Вообще же он был Читатель. Читатель с большой буквы, как сказать иначе — не знаю, а хотелось бы в том смысле, что Король, от головы до ног король. Король чтения.

Тогда все читали, с ним же было как-то иначе. Поверьте бывшему филологу, другого такого читателя я не видела никогда. Книжки были его местом проживания, видом на жительство и способом жизни. Тем более удивительно, если учесть, что ни одна радость бытия его не обошла стороной.

Нет новой книги — идет полным ходом перечитывание. А нечего перечитывать (так получилось летом у Черного моря, мы поселились в доме без единой книжки), шел в сарай, лез на чердак и добывал-таки нечто жалкое и в паутине, допотопный советский, с позволения сказать, детектив, и, представьте, — читал!

Я говорила — ты читаешь книги, в которые не ступала нога белого человека.

Еще помню, перечитывал «Тихий Дон», кто-то застал его за этим занятием:

— Как же ты можешь Шолохова читать, когда он по поводу твоего с Андреем процесса выступал, жалел, что вас обоих к стенке нельзя поставить?

А он сказал:

— Книга хорошая. Хорошая книга была над схваткой, пребывая в ином измерении. В начале было слово. Но было ли слово в конце, когда подступили темные воды забвения, не знаю.

Думаю — было.

Иначе просто быть не могло.

● Ирина

УВАРОВА-ДАНИЭЛЬ

12.IV.1967 А у меня сегодня именины! Прибалтийски, точнее — по-лютерански. Вот мы и посидели за столом в честь этого события: двое — лютеране, один — католик, один — униат, двое — православные, и я — виновник торжества — иудей. На общем совете решено было выяснить, когда у меня день ангела в соответствующих религиях. Отличная штука — веротерпимость! В сочетании с интернационализмом, кофе и печеньем.

Телеграмма пришла — о получении моего письма.

А это письмо писать мне трудно: все думаю, что мы, может быть, увидимся раньше, чем письмо доберется до Москвы.

Да, забыл рассказать: у меня еще одно новое имя. Я уже, кажется, писал, что меня тут по-всякому называют: и Юлий, и Юлий Маркович, и просто Маркович, и Юра, и Юрок. Даже Юликом называли. А тут один смешной литовец спросил, как меня по-литовски. Я сказал: «Юлис». Он сначала так и звал меня. Потом возникло «Вюлис». А теперь — «Вилис». «Мой Вилис» — так он ко мне обращается: и обращение сопровождается сигаретой или чем-нибудь сладким. Смешной такой дядек, лет пятидесяти, из тех, кто «не хотел умирать». Если попытаться определить одним словом то состояние, в котором находится он и ему подобные, то, пожалуй, самым подходящим будет слово «недоумение». Ах, боже мой, у меня уже сил не хватает думать об этом!

14.IV.1967 Право же, никогда в жизни я столько не праздновал. Народу-то много, все либо «кенты» и «кирюхи», либо приятели, либо добрые знакомые, и у каждого бывают и день рождения, и именины, и какие-нибудь знаменательные даты вроде «полсрока». А кроме того, есть еще даты традиционные, религиозные. Вот сегодня, например, Пасха — у прибалтов. Латыши, литовцы и эстонцы сейчас, пока я пишу, суетятся вокруг стола, готовят праздничное угощение. Я — гость и поэтому в приготовлениях не участвую, скромно дожидаясь, когда позовут к столу. Официально приглашен я был еще вчера, неофициально — недели полторы назад, православная же Пасха будет в следующее воскресенье, и опять же мне ее не миновать.

Дежурный вопрос, который мне задают всякие любопытствующие, это: «Что у вас общего с этими националистами?» «Интернационализм», — хочется ответить мне. Но я отмалчиваюсь: не поймут. Да и вопросы такие задаются не для того, чтобы получить ответы...

22.IV.1969 <...> пишется ли мне? Нет, не пишется. И уже давно. О причинах этой мертвой полосы я уже рассказывал, неохота повторяться. А стихи — увя, я очень хорошо понимаю, что в интересе, проявляемом к моим стихам, слишком много приходится на долю автора, его положения и состояния. Меня миновало счастье создать вещь, которая существовала бы для читателя отдельно и независимо от меня.

14.XII.1969 <...> А может, все-таки переменялся мой характер? Мне трудно судить: как по-вашему? По письмам что-нибудь заметно? Здесь довольно часто возникают ситуации, когда необходимо делать усилие, чтобы не реагировать или реагировать в обусловленных моим положением пределах. Три года назад (именно три, а не три и два месяца) меня бы это развлекало и смешило, а сейчас... Я чувствую себя после таких «самообузаний» как после хорошей драки — сердце колотится, в глазах темно и никакое тебе чувства юмора, ни синь-пороха. Меня тяготит, что эта раздражительность, должно быть, сказывается в письмах — как, скажем, во вчерашней записи.

Чем ближе встреча с вами со всеми, тем сильнее мой страх. Я просто не представляю себе, как я посмею вернуться к вам желчным и придирчивым: и так ведь всей моей жизни не хватит, чтобы воздать вам за все, что вы для меня сделали.

Вспоминайте меня, я вам всем по строке подарю.

Не тревожьте себя, я долги заплачу к январю.

Я не буду хитрить и скуливать, о пощаде моля.

Это зрелость пришла и пора оплатить векселя.

Непутевый, хмельной, захлебнувшийся плотью земной,

Я трепался и врал, чтобы вы оставались со мной.

Как я мало гарил и как много я принял гаров

Под неверный, под зыбкий, под мой рассыпавшийся кров.

Я словами умел и убить, и влюбить наповал.

И, теряя прицел, я себя самого убивал.

Но благая судьба сочинила счастливый конец,

Я достоин теперь ваших мыслей и ваших сердец.

И меня к вам влечет, как бумагу влечет к янтарию.

Вспоминайте меня, я вам всем по строке подарю.

По неловкой, по горькой, тоскою пропахшей строке,

Чтоб любили меня, когда бугу от вас вдалеке.